

ББК 66.01

Д. Г. Смирнов

## КУЛЬТУРА КОГНИТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СЕМИДИНАМИКА ОБРАЗА В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Статья посвящена семиотическому анализу концепта «образ» в символической политике международных отношений. Смысл современных международных отношений раскрыт через представление об эйдомахии. Сформулирована гипотеза о новом — собственно семиотическом — витке холодной войны. Раскрыта сущность культуры безопасности в рамках семиотического дискурса. Описана семиология образа (в том числе образа врага) в современной международной символической политике через обращение к феноменам семиотического вторжения и семиотического смещения. Выявлены особенности семиотического хронотопа символической политики МО. Уточнены в этом контексте понятия когнитивной резистентности и когнитивной безопасности.

**Ключевые слова:** культура безопасности, символическая политика, семиотика образа, семиотическое вторжение, семиотическое смещение, образ врага, эйдомахия, Холодная война, семиотическая (когнитивная) безопасность.

The article is devoted to the semiotic analysis of the concept «image» in the symbolic policy of the international relations. The essence of the contemporary international relations is revealed through the concept of eidomakhia. The hypothesis of a new — strictly semiotic — turn of the Cold War is proposed. The meaning of the security culture in the framework of semiotic discourse is stressed. The semiology of the image (including the image of the enemy) is described in the modern international symbolic politics through the semiotic invasion and semiotic slip phenomena. The features of the semiotic chronotope of the international relations symbolic policy are revealed. The concepts of cognitive resistance and cognitive security are clarified in this context.

**Key words:** security culture, symbolic politics, semiotics of image, semiotic invasion, semiotic slip, enemy image, eidomakhia, Cold War, semiotic (cognitive) security.

Очередная семиотическая революция, произошедшая в XX веке, предопределила трансформацию общей картины мира современного социально-политического субъекта. Наиболее существенное изменение в контексте этой мировоззренческой перестройки претерпела политика: в глобализационной перспективе «именно от политики ждут ответов на вызовы меняющегося мира, именно политика — "передовой рубеж" выработки новых смыслов

---

<sup>1</sup> Смирнов Д. Г., 2019

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 18-18-00233 «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике холодной войны: компаративный анализ».

человеческого существования» [13, с. 71]. В свою очередь эти новые смыслы, рождаясь, чаще всего не остаются умозрительными мыслительными конструктами, они с необходимостью виртуализируются, становясь «большими» и «малыми» концептами (конструкции или деконструкции) политического дискурса. Это создает предпосылки для политической символизации, утверждающей «множественность смыслов политической коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена» [11, с. 130] и заключающейся в «коллективном смысловом взаимодействии, не только воспроизводящим существующие смыслы, но и производящим новые» [12, с. 45]. Новые фундаментальные мыслеобразы, рождаясь в недрах конкретной культуры, неизбежно перерастают статус «национальных», обнаруживая себя в пространстве международных отношений.

*Ноомахия vs Эйдомахия.* Концепция «большой шахматной доски» З. Бжезинского закономерно, на наш взгляд, порождает представление о ноомахии, выходящее на более высокий и сложный уровень рефлексии. А. Г. Дугин понимает ноомахию в полисемантическом ключе: не только как собственно «войну умов», но и как «войну внутри ума» и даже как «войну против ума»: «мысль ведет войны не только с феноменальностью, <...> но и с различными типами мыслей, с другими мыслями, со сложным многообразием вертикальных и горизонтальных эйдетических цепочек, пронизывающих реальность в разных плоскостях» [см.: 4].

Если мы принимаем подобную логику размышлений, то становится очевидно, что ноомахия как война фундаментальных логосных структур оказывается во многом «войной-в-себе», находящейся на пределах индивидуального и коллективного восприятия. Мы же на самом деле вовлечены в эту войну, сами о том не подозревая, оказываясь не только и не столько *cold warriors*, сколько своеобразными *semiotic warriors*, защищающими при помощи соответствующих приемов и средств символические границы своей малой и большой идентичности.

Ноомахия в этом контексте перетекает в эйдомахию — «войну-для-нас» — политическую игру образами и символическими комплексами, данными нам в семиотическом ощущении, или иными словами «направленную на производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих» [9, с. 8]. Эйдомахия — это «ноомахия-для-нас» — война конкретно-исторических образов и их ансамблей.

В этом контексте Холодная война — это схватка не столько военных умов, сколько умов мирных людей, или иными словами это естественный отбор, который явлен нам в виде искусственного (семиотического) отбора идей и образов потребного будущего. Подобная постановка проблемы заставляет иначе взглянуть на вопрос о новой холодной войне, свидетелями которой мы становимся. С одной стороны (содержательной), Холодная война есть в первую очередь противостояние идеологическое, а коль скоро идеологического противника у США не осталось, то и вести речь о новой холодной войне не вполне корректно. С другой стороны (формальной), война образов и умов на семиотическом поле боя не завершилась, наоборот, она зашла на новый виток. Так, в рамках философского дискурса Холодная война на уровне концепта как системообразующего свойства действительно завершилась, но холодная война на уровне структуры и субстрата — отношений и элементов символической политики — продолжается и более того, набирает обороты.

*Культура vs Безопасность.* Конфликтогенность внутренней и внешней символической политики предполагает формирование представлений о культуре безопасности. Здесь следует начать с категориального анализа, который осложняется тем, что в этом термине не предмету приписывается свойство (как, например, в случае, с безопасностью культуры), а свойству задается предметность. В качестве отправной точки возьмем ставшее уже классическим определение, предложенное В. С. Степиным, который понимал культуру как систему исторически развивающихся надбиологических программ жизнедеятельности [16, с. 10]. Заметим здесь, что указание на надбиологические программы ориентирует нас на культурные практики, формирующиеся на биологическом субстрате, но к нему несводимые. В этом смысле, думается, можно вести речь о культуре как о системе эволюционирующих в исторической перспективе семиотических программ жизнедеятельности.

Безопасность прежде всего как категория политического дискурса, отчетливо заявившая о себе в конце XVII века, неизменно предполагала «...представлении о состоянии или цели, конституирующих взаимоотношения между индивидами и государствами или обществами» [25, р. 61—62]. Наряду с такой объективированной трактовкой безопасность в европейской культуре интерпретируется и в субъективистском ключе как, например, «доверие, душевное спокойствие, проистекающее из мысли о том, что нет опасности, которую следовало бы бояться» [26, р. 1326], или «состояние или ощущение безопасности» [23, р. 1093].

Органическая дополнительность феноменов культуры и безопасности хорошо просматривается в рамках системного подхода. И культура и безопасность могут быть представлены как системы на трех уровнях сложности — субстратном, структурном и концептуальном. Так, культура предстает одновременно как совокупность материальных артефактов, как форма отношения (к дикости и варварству), как цель развития. И безопасность в пределе может мыслиться как определенное место (состояние), как отношение между элементами определенной системы (доверие, спокойствие) и как свойство, характерное для того или иного феномена (ощущение). Если же мы помыслим оба феномена в семиотическом ключе, то окажется, что культура предстает в этой рефлексии как план выражения глобальной мир-системы, в то время как безопасность репрезентует ее как план содержания.

*Культура безопасности: проблемы дефиниции.* Синтез культуры и безопасности один из первых предпринял Колин Грей. Он предложил определение стратегической культуры через обращение к способам мышления и действия при решении вопросов применения силы, уходящие корнями в национальный исторический опыт, отражающий модели поведения в критических ситуациях [22, р. 35—37]. Кен Бут в своей работе «Стратегическая культура: достоверность и ее определение» генерализировал, что стратегическая культура определяет образцы поведения при решении проблем войны и мира [20, р. 25—28], что отсылает нас к близкой категории военной безопасности.

Военная безопасность, как показывает К. В. Фатеев, «есть состояние по: а) установлению конкретного порядка действий; б) запрещению определенных деяний; в) предоставлению субъекту выбора одного из установленных вариантов поведения» [17, с. 14]. Обратим внимание, что в этой трактовке военная безопасность имеет выраженный семиотический потенциал, на что указывает в частности С. А. Вершилов, говоря об укорененности концепта

«военная безопасность» в культуре через символизацию трех порядков — меток возможного причинения ущерба, знаков предохранительного пояса и векторов «движения» от маркеров первого порядка к маркерам второго [2, с. 63]. Формально создается система (гео)политической этологии с координатами императива и табу, между которыми и располагается «свобода выбора» адресата символической политики.

Поворот от военной безопасности к собственно культуре безопасности предполагает символизацию (а как частный случай — метафоризацию) противостояния; переход от парадигмы «горячих» столкновений к концепции холодных войн. Так, метафоризация эффективнее всего популяризирует тип отношений (мужчина, женщина; ребёнок старик; ребёнок, родитель; человек, животное; агрессор, жертва...) в рамках реальной политики. Культура безопасности не только определяет (отбирает), но и производит и семиотизирует (и ресемиотизирует) образцы патриотизма / космополитизма через различными способами (живописно-изобразительным, фотографическим, кинематографическим или мультипликационным и т.п.) визуализированные эталоны нормы и девиации. В этом контексте нам представляется эвристичным понимание культуры безопасности, предложенное Ю. В. Фетисовой, которая интерпретирует ее как «символически» закреплённую совокупность ценностных и деятельностных установок в области безопасности [18, с. 88].

*Семиология символической политики: образ врага в МО.* Семиотика МО затрагивает глубинные пласты когнитивной безопасности, связанные с конструированием картины мира, поддержанием и воспроизведением идентичности. «Внешняя символическая политика», по сути, связана не только с конструированием образа врага, но и выработкой собственного образа (как зеркального отражения оппонента). В когнитивном плане примерка на себя чуждого образа не только выполняет защитную функцию, но и позволяет в определенном смысле собрать картину мира своего визави, воссоздать его лик. Подобное понимание стратегической культуры является фундаментальной частью одного из основных принципов войны: «Узнав своего врага, познаешь и себя» [14, с. 92].

Современная геополитическая эпоха насыщена разнообразными формами семиотических вторжений. Последние понимаются нами как ситуации внедрения (вторжения) в национальную, этническую, государственническую картину мира чужого семиотического кода, который предлагает иную (альтернативную) валидную интерпретацию конкретной знаковой ситуации. Семиотическое вторжение чревато гораздо более серьезными последствиями, нежели вторжение «механистическое». Для семиотической системы третий закон Ньютона не работает: семиотическое действие не всегда рождает противодействие равное по силе и обратное по направлению. Образ врага, находящийся, как правило, в авангарде семиотического вторжения, должен обладать соответствующими характеристиками, чтобы сформировать, одновременно, отношение неприятия у своих и состояние рефлексии (но не отторжения) у чужих, ибо только в этом случае он эффективен.

В этом смысле проблемное пространство семиотики международных отношений не сводится только к эйдомахии, к локальным семиотическим конфликтам, возникающим в результате информационных вбросов и семиотических вторжений. Для семиотики международных отношений существенное значение имеет инвайронментальный дискурс — фактор культурного пространства. Создание образа врага, как показывает история противостояния

СССР и США, оказалось делом нехитрым. Долгое время эти образы оставались «образами-для-себя» — работали лишь на внутренний символический рынок. И это поддерживало определенный уровень когнитивной безопасности как в капиталистическом, так и социалистическом блоке<sup>2</sup>.

Переход к геополитической парадигме перестройки, спровоцировал открытие семиотических границ, превратив, одновременно, артефакты культуры в товар, на который в изголодавшемся советском обществе, оказался колоссальный спрос. Мода (аналог голода) «усыпила» инстинкт интеллектуального самосохранения, позволив распространиться парадигме «американской мечты» [см.: 21] со всеми ее индивидуалистическими и рыночными коннотациями под лозунгом «только бизнес — ничего личного»<sup>3</sup>. В результате образы врага (как зерна) упали в уже подготовленную почву, на которой стали вырастать образы с инверсивным знаком: от «и не друг и не враг, а так» до «враг моего врага — мой друг»<sup>4</sup>.

Собственно валидизация и следующая за ней легитимация инверсированных образов возникают, благодаря когнитивному механизму раскодирования элементов символической политики, который мы предлагаем называть семиотическим смещением. Семиотическое смещение имеет место тогда, когда означаемое и означающее перестают совпадать в когнитивном плане. В результате при переходе из одной семиотической системы в другую, например, в кинематограф, означающее обретает семиотическую самостоятельность и, по сути, становится уже означаемым, для которого, в свою очередь, создается новое означающее, новый образ (кинематографический). Подобное семиотическое отчуждение означаемого от означающего в конце концов приводит к ситуации, когда их семиотическая связь исчезает, а сознание (индивидуальное и коллективное) оперирует уже семиотическим симулякром, то есть означающим без означаемого, что в пределе приводит к своеобразной фейкмохии.

В этом контексте символическая политика предстает как пространство моделирования реальной международной политики и соответствующих отношений. Здесь следует вести речь о, по крайней мере, двух группах образов: реальных и виртуальных. Конкретный образ или семиотическая ситуация конструируется и проигрывается в общественном и индивидуальном сознании, проверяясь на когнитивный потенциал и эффективность. Для реальных (прототипных) образов характерна связь с конкретными кейсами исторической действительности, для виртуальных (логотипных) образов характерен отрыв от фактуальности. В когниции эти образы не различимы, ибо обладают одинаковыми семиотическими признаками. При этом нужно учитывать, что логотипные образы (например, образы вселенной Marvel), конструируемые

---

<sup>2</sup> Уместно вспомнить здесь концепцию козла отпущения Р. Жирара. При этом образ врага переносит позитив или негатив не на конкретного человека, персону, но на определённый антропологический образ, выполняя наряду с консолидирующей функцией психотерапевтическую.

<sup>3</sup> Наиболее репрезентативными в понимании политической и социо-культурной ситуации в том или ином обществе оказывается не авторское кино (*auteur cinema*), которое всегда субъективно, но самые популярные или распространенные образцы массовой культуры, наиболее открыто показывающие мифологию конкретного общества, которая репрезентует «национальную идею» и национальную идентичность.

<sup>4</sup> Подобной ситуации в немалой степени способствовал процесс содержательного пересмотра истории царской России и СССР, предложившего антикоммунистическую версию событий XX века.

произвольно, имеют большие адаптивные возможности по отношению к среде (индивидуальному и коллективному сознанию)<sup>5</sup>.

*Семиотический хронотоп образа символической политики в МО.* Как мы попытались показать выше, для понимания сущности феномена семиотического милитаризма важны не только конкретные инструменты когнитивного воздействия (образы и символные комплексы), но и культурные хронотопы, один — который генерирует эти сообщения и второй, в который эти сообщения поставляются.

Современное пространство-время семиотики международных отношений обладает специфическими чертами, неразрывно связанными с природой самих знаков. Семиотическая насыщенность определенного символа напрямую зависит от его хронального потенциала. Классический знак сворачивает в себе три временных лага — прошлое, настоящее и будущее. И в этом смысле он одновременно анамнестичен, дианостичен и прогностичен. Именно этим задается его устойчивость и эффективность в рамках динамично меняющейся символической политики. Образы современной символической политики характеризуются своеобразной семиотической редукцией: они теряют свои темпоральные коннотации<sup>6</sup>. Так, логотипные образы предполагают ситуацию, когда символ теряет своё «прошлое», а довольствуется лишь настоящим и будущим измерениями<sup>7</sup>. Иными словами он постепенно превращается из иконического знака в примитивный сигнал. Последний не предполагает глубокой рефлексии, а требует действия (например, подражания). Формируется тенденция к футуризации образов символической политики, которая предполагает фиксацию на будущем измерении символа, что по сути, говорит о превращении знака в симулякр<sup>8</sup>.

Семиотическое пространство также претерпевает определенные изменения, связанные так или иначе с его темпоральной трансформацией.

---

<sup>5</sup> Прототипный образ (для того, чтобы сохранять свой статус) «вынужден» цепляться за историческую фактуру, репрезентуя реальные черты своего означаемого. Логотипный образ, конструируемый «из ничего», подобными правилами не ограничен.

<sup>6</sup> Эвристичной в этом контексте представляется постановка проблемы через призму синхронии и асинхронии (диахронии) символа, когда последний теряет органическую связь с исходной темпоральностью, размещаясь в инородном ему времени, что с необходимостью изменяет его значение для интерпретаторов.

<sup>7</sup> Показателен в данном случае пример с образом войны. Он эффективен как инструмент символической политики только когда коллективная память реальна, воспроизводима в рамках регулярных (системных) коммеморативных практик. Для многих она уже виртуальна, в том смысле, что нереальна: война в прошлом, ее нет в настоящем и не будет в будущем. Война — это не мое. Другой пример. Учитывая, что ядерная угроза для сознания населения США и России сейчас менее актуальна, чем в период ХВ (и это специфика нового этапа геополитики), визуальные метафоры приближают её в сознании, актуализируя ее настоящее и будущее измерения. Она оказывается чувствуемой, чувственно воспринимаемой. Все это трансформирует саму природу политического символа, определяя границы его применимости в рамках символической политики как на внутреннем семиотическом рынке, так и в пространстве международных отношений.

<sup>8</sup> В качестве примера футуризации образа можно привести пример с концептом «коммунизм». В рамках социалистического строительства он действительно доказал в определенный момент времени свою эффективность, но оказался неустойчив к изменениям внешней и внутренней семиотической среды, потеряв привлекательность по причине недостижимости.

Экстерриториальность образов символической политики задается не в последнюю очередь всей глобализационной динамикой мирового развития. Символ теряет свою историю в том числе и по причине того, что он изымается из «оригинального» пространства, в котором он вызрел и сформировался. А пребывание вне конкретного пространства для образа чревато потерей означаемого. Почеркнем, что символы, востребующие коллективное (общее) прошлое, работают на устойчивость развития той или иной территории: не экономический детерминизм, а культурно-семиотический апеллирует к народу, населению. Экстерриториальность образов органически дополняется интердискурсивностью. Для современной символической политики характерно представление определенных символических кейсов вне их исходного дискурса<sup>9</sup>. Это можно рассмотреть в качестве одного из приемов когнитивного противостояния на международной арене.

В целом можно вести речь о темпоральном и топологическом поворотах в семиотике международных отношений. Время для международных акторов определяется степенью их близости к авангардным социальным группам — носителям так называемого «срединного» времени [5, с. 81—85]. Нам кажется, что в этом контексте более уместно использовать термин «опережающее» (созидающее) время, что уточняет в целом верную авторскую структуру времени, в которой важные значения обретают «эсхатологическое» (отстающее, разрушающее) время и «мобилизационное» (ускоряющее) время. Вместе с тем, понимание «нового» времени международных отношений должно учитывать его семиотическую природу, раскрывающуюся в своеобразном посмодернистском ключе: «...движение времени выражается не столько в пространстве, сколько в переключении внимания сознания», а прошлое есть «настоящее, которое потеряло значение для субъекта» [8, с. 172—173]. Получается, что время международного дискурса определяется свойствами знаков (образов), которыми он оперирует.

Динамика топологии международных отношений предполагает в значительной степени отрицание территориальной (предметной) закреплённости [1, с. 145] и утверждение закреплённости символической (образной). Происходит своеобразное территориальное абстрагирование, отвлечение физических свойства топоса, когда он активно осваивает номинальное семиотическое бытие. Пространство метафоризируется, превращаясь из физически трехмерного в семиотически одномерное, становясь сигналом или символом. Еще один момент здесь связан с тем, что публичность пространства неожиданно подверглась «приватизации» (хотя оба дискурса и сохраняют пока самостоятельность). Международные отношения расширяют свой топос за счет актуализации в дополнение к публичному пространству пространства приватного, что внесло заметные коррективы в содержание международной символической политики: оказалось, что «нельзя понять или интерпретировать независимо друг от друга области домашней, личной жизни и не домашней, экономической и политической» [15, с. 928].

<sup>9</sup> Здесь можно привести пример эстонско-британской аналитики отечественного мультипликационного фильма «Маша и Медведь», который оказался угрозой европейской безопасности. К этому приводит перемещение или помещение кинематографического текста в иной дискурс, который требует иных моделей интерпретации и понимания. К месту будет вспомнить, что серьезный анализ приключений Тома и Джери предложил Славой Жижек, рассмотрев соответствующий мультфильм как пример «логики выживания» более слабого в столкновении с более сильным, агрессивным, но недалеким оппонентом.

*Когнитивная безопасность в эпоху холодной войны (вместо заключения)*. Говоря о семиотической безопасности (которая не может по своей природе быть коллективной), следует помнить, что цель символической политики любого государства заключается в «формировании символических комплексов, способствующих целостности государства и позитивному развитию общества» при условии «развития жизненных сфер, символов-добродетелей, институтов символотворчества, связывающих знаки жизненных сфер с национальной идеей, государственными символами» [6, с. 29]. Именно она «связывает знаки и ценности разных уровней в символических комплексах, образуя иерархию, восходящую к концепциям национальной истории» [6, с. 24]. Иными словами символическая (символьная) политика призвана сформировать систему семиотических координат, в которой каждый знаковый элемент выполняет определенную системообразующую функцию.

Важное место в формировании системы символов «негативной эвристики» занимает образ врага<sup>10</sup>. Именно его структурированность, институционализированность, допустимая (умеренная) агрессивность повышают шансы того или иного социума «сохранить себя перед угрозой вызовов глобализации», увеличив «собственные жизненные шансы» [7, с. 30]. Образ врага всегда не только когнитивен, но и аффективен. А раз он эмоционален, то он апеллирует к определенной системе ценностных установок индивида и конкретного социума. И вот здесь встает вопрос о том, на сколько тот или иной знак, образ этически соответствует семиотической системе, в которую он помещается; иными словами, насколько допустимо (оправдано) семиотическое вторжение. Подспудная цель образа в рамках современной международной символической политики не столько «овражить» (дискредитировать) оппонента, но и поставить под сомнение определенную систему ценностей, с ним связанную, заставить рефлексировать над ней особым образом. Именно это измерение в рамках конструирования образа врага выходит сейчас на первый план [см.: 24]<sup>11</sup>.

Этот посыл очень хорошо зафиксировал Аллен Даллес, говоря о символической политике в отношении СССР. «...Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые... Как? Мы найдем своих единомышленников... и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия самого непокоренного на Земле народа, окончательного угасания его сознания. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, всякой безнравственности [3, с. 330]. Потеря в «новорусскую» эпоху образа врага обернулась тем, что враг трансформировался в кумира с набором определенных капитализируемых качеств. В этом ключе можно говорить уже не только о столкновении конкретных образов семиосфер,

<sup>10</sup> Весь комплекс символов внешней символической политики можно представить в виде двух блоков знаков: образов позитивной эвристики (образов себя) и образов негативной эвристики (образов других). Первые формируют и воспроизводят собственную идентичность, тогда как вторые формируют и транслируют маркеры чужой идентичности.

<sup>11</sup> Авторы рассматривают в качестве ключевого критерия символической этики, необходимость открытости к другим (людям/культурам/обществам) и нацеленности на диалог с Другим, в том числе и в выработке глобальных ценностей. Однако, помещение подобной интенции в глобалистский дискурс создает предпосылки для информационного или, точнее, семиотического, империализма как продолжения внешнеполитической экспансии немилитаристскими методами.

но и о своеобразной войне кодов, взламывающих сознание адресата символической политики, где образы выступают в качестве когнитивных отмычек для отпирания патриотизма, антиамериканизма, русофобии...

Подобный ход размышлений приводит нас к проблеме когнитивной резистентности и, шире, безопасности. Мы понимаем под когнитивной резистентностью способность индивидуального или коллективного сознания выстраивать защитные семиотические барьеры в ситуации символического вторжения, верифицировать коды, с помощью которых предлагается интерпретировать конкретную семиотическую ситуацию. Когнитивная безопасность предстает в данном контексте как система семиотических приемов и техник верификации и фальсификации, базирующаяся на исторически апробированных ценностных и деятельностных установках, позволяющих обеспечить реализацию интересов социума.

Фокус исследовательского внимания в настоящее время смещен на феномен информационной безопасности и в частности на ее личностное измерение. Так, информационная безопасность личности задается высоким уровнем информационной культуры и предполагает владение такими навыками, как способность четко осознавать информационные потребности, выявлять и оценивать источники информации (выявлять наиболее достоверные, полные и оперативные источники информации), находить, анализировать, организовывать, интерпретировать, синтезировать информацию, оценивать эффективность процесса удовлетворения информационных потребностей [19, с. 190]. Личность, обладающая такими навыками, может эффективно противостоять вызовам современной информационной среды. Следует сказать, что приведенную выше систему «умений и владений» крайне проблематично сформировать в рамках системы образования (а именно она имеется в виду, судя по стилю автора).

Когнитивная безопасность личности формируется в основном стихийно в процессе социализации: в пространстве семьи, школьного и вузовского окружения, рабочей среды. Она связана преимущественно с освоением своей культуры (в сравнении с иными культурно-историческими типами), ее семиотического наполнения, транслирующего нормы и эталоны поведения в конкретных ситуациях, и одновременно демонстрирующего формы этологических девиаций. Взросление индивида (в том числе и в семиотическом плане) не может, как ни пытаются, уйти от механизмов подражания и отторжения. Поэтому разворачивание системы когнитивной безопасности предполагает воспроизводство и перманентную трансляцию образов врага / друга, своего / чужого в рамках символической политики с целью сохранения ценностных и деятельностных установок, выражающих сущность национального разума в формах развития этносознания.

#### *Библиографический список*

1. *Брайдотти Р.* Путем номадизма // Введение в гендерные исследования. Ч. II: хрестоматия / под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 136—163.
2. *Вершилов С. А.* Деятельностное представление укоренённости концепта «военная безопасность» в культуре: семиотический срез // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5-1 (43). С. 61—63.

3. Даллес Аллен, Рейнхард Гелен. Дожать Россию! Как осуществлялась Доктрина. М.: Алгоритм. ЛитРес, 2014. С. 330.
4. Дугин А. Г. Ноомахия. Три Логоса. М.: Академический проект, 2014. 447 с.
5. Ильин В. В., Панарин А. С. Философия политики. М.: Изд-во МГУ, 1994. 283 с.
6. Катицын В. М. Символьные комплексы: роль в институционализации и легитимации национальных интересов // Пространство и Время. 2013. № 3 (13). С. 20—30.
7. Кармадонов О. А. Эффект отсутствия: культурно-цивилизационная специфика // Вопросы философии. 2008. № 2. С. 29—41.
8. Летов О. В. Проблема научной объективности. От постпозитивизма к постмодернизму. М.: РАН ИНИОН, 2010. 196 с.
9. Малинова О. Ю. Конструирование макроскопической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза. 2010. Т. 6. № 1. С. 5—28.
10. Марков В. И. Информационная безопасность и культура // Межотраслевая информационная служба. 2013. № 4. С. 88—91.
11. Мусихин Г. И. Концептуализация политической символизации // Политические исследования. 2015. № 5. С. 130—144.
12. Мусихин Г. И. Символизация как контекстуальный синтез политической онтологии, политической эпистемологии и политического языка // Общественные науки и современность. 2015. № 6. С. 45—57.
13. Мусихин Г. И. Политическая риторика как квазисимволизация? // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15, № 2. С. 66—86.
14. Ожиганов Э. Н. Стратегическая культура: понятие и направления исследований // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 2. С. 91—102.
15. Оукин С. М. Гендер: публичное и приватное // Гендерная реконструкция политических систем. СПб.: Алетейя, 2004. С. 920—945.
16. Степин В. С. Философия и образы будущего // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 10—21.
17. Фатеев К. В. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации: теория и практика правового регулирования: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М.: Военный ун-т МО РФ, 2012. 38 с.
18. Фетисова Ю. В. Безопасность и культурный контекст: к обоснованию понятия «культура безопасности» // Омский научный вестник. 2009. № 3 (78). С. 88—90.
19. Чурашева О. Л. Информационная культура и информационная безопасность личности // Теория и практика общественного развития. 2014. № 16. С. 188—190.
20. Booth K. Strategic Culture: Validity and Validation // The Oxford Journal on Good Governance. March 2005. Vol. 2, № 1. P. 25—28.
21. Drummond L. American Dreamtime: A Cultural Analyses of Popular Movies. N. Y.: Littlefield Adams, 1996. 344 p.
22. Gray S. C. National Style in Strategy: The American Example // International Security. 1981. Vol. 6. № 2. P. 21—47.
23. Larousse P. Dictionnaire Encyclopedique pour tous. Paris: Librairie Arousse, 1966. 1787 p.
24. Petrilli S., Ponzio A. Semiotics Today. From Global Semiotics to Semioethics // Signs. 2007. Vol. 1. Pp. 29—127.
25. Rothschild E. What is Security? / E. Rothschild // Daedalus. 1995. Vol. 124, № 3. P. 53—98.
26. The Concise Oxford Dictionary: The New Edition for the 1990s. New York: Oxford University Press, 1990. 1504 p.